

А. Воронский.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СИЛУЭТЫ*1.

I. БОРИС ПИЛЬНЯК.

"С рассветом горько запахло полынью, - и Наталья поняла: полынью, горьким ее сказочным запахом, запахом живой и мертвой воды пахнут не только суходольные июли, - пахнут все наши дни, тысяча девятьсот девятнадцатый год. Горечь полыни - дней наших горечь". (Голый год).

I.

Каков подлинный лик жизни людской?

Над оврагом, в глухом сосновом лесу, в корнях свили себе гнездо две большие, серые, хищные птицы, самка и самец.

Самец. "Зимами он жил, чтобы есть, чтобы не умереть. Зимы были холодны и страшны. Веснами же он родил. И тогда по жилам его текла горячая кровь, было тихо, светило солнце, и горели звезды, и ему все время хотелось потянуться, закрыть глаза, бить крыльями воздух и ухачь беспричинно и радостно". ("Былье". Рассказы. "Над оврагом").

Самка сидела в гнезде, отдавалась самцу, родила детей и тогда становилась "заботливой, нахохленной и сварливой".

Так прожили они тринадцать лет. Потом самец умер. Пришла старость. Новый, молодой самец овладел самкой. Старый был побежден в бою.

Жизнь человеческая - такая же. Сущность ее - в зверином, в древних инстинктах, в ощущениях голода, в потребности любви и рождения.

В рассказе "Год их жизни" в лесу живут трое: охотник Демид, жена его Марина и медведь Макар. Живут в одном доме. Демид похож на медведя, медвежья сила, медвежьи ухватки, от него пахнет тайгой. "Они, человек и зверь, понимают друг друга". Такая же и Марина. Когда рожала она первого ребенка, медведь подошел к кровати и "особенно, понимающе и строго смотрел добродушно-сумрачными своими глазами". У них - общая родина - глухая тайга, весны, зимы, зори, росы, общая жизнь, крепкая, лесная, грубая, свободная, одинокая, непосредственная, с глазу на глаз с небом, землей и лесом.

*1 Борис Пильняк, Всеволод Иванов, Ник. Никитин, А. Яковлев и др.

Деревня. Русь перелесков, овинов, полей, мужиков и баб.

"Жили с рожью, - с лошадьё, с коровой, с овцами, - с лесом и травами. Знали: как рожь, упав семенами в землю, родит новые семена и многие, так и скотина, и птица родит, и рождаясь снова родит, чтобы в рождении умереть, - знали, - что таков же удел и людской: родить и в рождении смерть утолить, как рожь, как волчашник, как лошадь, как свиньи, - все одинаково" ("Проселки").

Из романа "Голый год": "Бабы домолачивали на гумнах, и девки после летней страды, перед свадьбами огуливаясь, не уходили вечерами с гумен, ночевали в овинах... орали до петухов ядреные свои сборные, стало быть (наша разбивка. А.В.) и парни, что днем ходили пилить дрова, вечерами тискались у овинов".

К этой звериной, из века данной жизни тянется человек, о ней он тоскует как о потерянном рае - и грехопадения и недовольство, и нестроения его начинаются с момента, когда силой вещей и обстоятельств он почему-либо отрывается от этой жизни.

Крестьянин Иван Колотуров, председатель совета, поселяется в княжеском реквизированном доме. И тут "вдруг очень жалко стало самого себя и бабу, захотелось домой на печь". В рассказе "Наследники" в старинном дворянском доме Ростовых живут последыши ростовского рода. Живут скучно, сиром, злобно, ненужно, мелко, - потому, что пришла революция и поставила их вне жизни, вырвала их с корнями и вот засыхают, гниют, валяются, как старые бумажки, выброшенные за ненадобностью.

Интеллигентка Ирина знает, что гуманизм - сказки, что настоящее - это борьба за жизнь, тело, инстинкты, и она бросает свою среду с умными разговорами о Дарвине, о принципах, - уходит в степь к сектантам, становится женой ушкуйника - повольника, конокрада Марка - и начинает жить мужицкой жизнью. Руки ее покрываются мозолями, научается она петь и повязываться по-бабьи, ей некогда "размышлять", она становится рабой мужа и именно поэтому так счастлива и радостна.

Пильняк - писатель "физиологический". Люди у него похожи на зверей, звери как люди. И для тех и других часто одни и те же краски, слова, образы, подход. Оттого Пильняк с таким знанием и мастерством рассказывает о волках, медведях, филинах.

Пильняк очень чуток к природе. Он любит, знает ее. Умеет подмечать оттенки, характерные мелочи, не бросающиеся обычно в глаза. Для леса, неба, зимы и осени, метелей у него много слов и сравнений. "Бабым летом, когда черствеющая земля пахнет, как спирт, едет над полями Добрыня-Златопояс-Никитич - днем блестят его латы киноварью осин, золотом берез, синью небесной (синью - крепкой, как спирт), а ночью потускнели латы его, как вороненая сталь, поржавевшая лесами, посеревшая туманами и все же черствая, четкая, гулкая первыми льдинками, блестящая звездами спаек". "Весна, лето, осень, зима в человеческом сознании приходят как-то сразу" и т. д.

Пильняк тянется к природе как к праматери, к первообразу звериной правды жизни. И природа у него звериная, буйная, жестокая, безжалостная, древняя, исконная, почти всегда лишенная мягких, ласковых тонов. "Зима. Декабрь. Святки. Делянки. Деревья. Закутанные инеем и снегом, взблескивают синими алмазами. В сумерках кричит последний снегирь, костяной трещеткой трещит сорока. И тишина. Свалены огромные сосны... Ползет ночь... Кругом стоят скрытые от можжевельника и угрюмые елки, сцепившиеся, спутавшиеся тонкими своими прутьями. Ровно и жутко набегают лесной шум. Желтые поленницы безмолвны. Месяц, как уголь, поднимается над дальним концом делянки. И ночь. Небо низко, месяц красен... Гудит ветер, и кажется, что это шумят ржавые засовы... И тогда на дальнем конце делянки, в ежах сосен, в лунном свете завыл волк и волки играют звериные свои святки... (разбивка наша. А.В.). ("Голый Год"). Или: "ночь шла черная, черствая, осенняя; шла над пустой, холодной, дикой степью". (Былье. "Именье Балконское"). Тут нелеп гудок автомобильного рожка и ровный шум пропеллера, заставляющий к небу поднимать глаза. "Небо низко, месяц красен... завыл волк"... Так было, когда складывалось "Слово о полку Игореве". Так и осталась Русь лесной нежити, леших, домовых, русалок, водяных, волков, медведей, наговоров. Не жизнь, а биология. И показывать эту жизнь должен человек большого роста, с размашистыми движениями и лесными, немного дремучими, как у медведя, глазами. И нужно много еще потрудиться и многое испытать и перенести новым людям в кожаных куртках, чтобы в лесах, где шуркают лешие, были проложены железные дороги и природа сменила свой дикий, доисторический лик на более современный, - чтобы народ этой Руси перестал верить в наговоры, петь "ядренные сборные" и свадебные песни, в которых - мохнатая древность, лесная глушь, дикое поле, - чтобы вместо сказок о коврах-самолетах, где все "по щучьему велению" делается, поверил бы он - народ этот - в фантазмы завоевания неба и земли стальными машинами, в фантазмы, завтра воплощающиеся в жизнь, чтобы создал новую сказку о стальных волшебниках - чудадеях, покорных человеку, - научился бы мечтать не о таинственном граде Китеже, а о преобразованиях жизни упорным, плодотворным трудом, путем преодоления стихий, дерзкого проникновения в их тайны.

В сущности и природа, и эта звериная жизнь у Пильняка скорбны. Недаром арабский учитель, Ибн-Садиб, говорит об этой древней жизни: "скорбь, скорбь!" ("Тысяча лет"). В рассказе "Смертельное манит" мать говорит дочери: "смертельное манит, манит полая вода к себе, манит земля к себе, с высоты, с церковной колокольни, манит под поезд и с поезда, манит кровь". Это лежит "в природе вещей", в существе жизни. Такой же скорбью, идущей от самого существа жизни, от корней ее обвеяны страницы "Голого года", где дана смерть старика Архипова. То же в "Простых рассказах". Вообще этот мотив у Пильняка не случайный. Есть некоторая приглушенность и горечь во всех его вещах, в стиле, в писательской манере. Пильняк двойственен в своих настроениях. Наряду с бодрым, свежим, задорным - то и дело

выглядывает иное: горькое, тоскливое. И кто знает, какое настроение возьмет в художнике в конце концов верх! Пока только следует отметить, что русская революция сказывается на его вещах благотворно. И в ней единственное спасение для современного писателя. Иначе: скорбь, мистика, уныние, слякоть, безвольная романтика.

В тесной связи с "физиологией" и "биологией" у Пильняка находится любовь, женщина. Женщине и любви Пильняк уделяет очень много места, до чрезмерности. И здесь исключительно почти выступает физиологическая сторона. Есть у Пильняка в этом много сходного с Арцыбашевым; нет, пожалуй, в отличие от Арцыбашева смакования сладострастного: более просто, по деревенски. Но иногда рассказы его о любви граничат с явной патологией. Чекистка Ксения Ордынина говорит:

"Я думала, Карл Маркс сделал ошибку. Он учел только голод физический. Он не учел другого двигателя мира: любви... пол, семья, род, - человечество не ошибалось, обоготворяя пол... Я иногда до боли физической реально начинаю чувствовать, осязаю, как весь мир, вся культура, все человечество, все вещи, стулья, кресла, комоды, платья, пронизаны полом, - нет, - не точно, пронизаны половыми органами; даже не род, нация, государство, а вот носовой платок, хлеб, ремень... и я чувствую, что вся революция - вся революция - пахнет половыми органами" ("Иван-да-Марья").

Карл Маркс приплетен тут ни к селу, ни к городу. Маркс и не ставил никчемного для него вопроса о том, какую роль играют в истории голод и любовь. Но не в Марксе дело. Кому и для чего нужна вся эта патология? Получается не то Розановская мистика пола, не то превращение мира в дом терпимости. Хуже же всего то, что произведения, благодаря такому "символу веры", перегружаются изнасилованиями, половыми актами, а женщины у Пильняка, за некоторыми исключениями, все на один лад скроены. Вполне понятно, - если к ним подходить с "социологией" Ксении Ордыниной и видеть в них рабу, мать, и любовницу, а не женщину с ее женственно-человечным. Оттого, например, в повести "Иван-да-Марья" есть какой-то неприятный привкус. У читателя рождается холодок, что-то враждебное и неприятное, несмотря на ряд превосходнейших мест (уездный с'езд советов и т.д.).

В разных статьях и по разному поводу нам неоднократно приходилось отмечать тяготение современных писателей, художников, поэтов, публицистов к первобытному, к упрощенной, не усложненной жизни. У Пильняка этот мотив лежит в основе его художественных писаний, выражен сильнее и ярче, чем у других. Здесь - отправная, исходная точка, ключ к его художественной деятельности. Разочарование в ценностях современной буржуазной культуры, сознание ее тупика; тупик, в который зашла наша художественная жизнь за последние десять-пятнадцать лет со всей своей издерганностью (эгоцентризмом, психологизмом, андреевщиной и

достоевщиной и одновременно внутренней опустошенностью); чувство дисгармонии и тоска по выпрямленной, "правильной" жизни; усталость ото всех этих психологических утонченностей и усложненностей;

#_256

русская революция, вскрывшая недра стихийных сил, выбросившая на арену истории мужика, рабочего, людей из тайги, из лесов, степей, с их здоровым, свежим, нутряным отношением к окружающему; война и революция, показавшие современному интеллигентному человеку значение вещи, как таковой и ценность жизни в ее простом, грубом, примитивном; наконец, усталость от бурных дней революции - вот чем питаются эти современные настроения. У одних из художников преобладают мотивы актуального порядка (В. Иванов, Илья Эренбург, Маяковский), других приводит это к возведению "в перл создания" обывательщины (А. Белый, отчасти Замятин). Как, по какой линии идут эти умонастроения у Пильняка - увидим дальше и прежде всего из его отношения к русской революции.

II.

Русскую октябрьскую революцию Пильняк принял прежде всего не как порыв в стальное будущее, а по бунтарскому. Искал и нашел в ней звериный, доисторический лик. Это совершенно гармонирует с биологичностью его отношения к жизни. Октябрь хорош тем, что обращен к прошлому. Революция освободила народ от царя, попов, чиновников, от ненужной интеллигенции, и вот Русь "ушла в XVII-й век". В рассказе о Петре и Петр I, и его детище - Петербург - изображены как злое навождение, ненужная издевка над Россией, как нечто, глубоко противное ей, наносное. Вся деятельность Петра представлена сплошным дебошем, озорством, насилием над "физиологией народной жизни". Петр I - гениальный игрок, маниак, не знавший никогда подлинной России, всегда пьяный сифилитик, деспот, убийца, человек с идеалами казармы. Такова и его реформаторская деятельность, дикая, необузданная, бессмысленная и насквозь чуждая народу. И в то время, как Петр сгонял "людишек" на топкие болота и заставлял их, как илотов, работать над возведением нового "парадиза", "старая, канонная, умная Русь, с ее укладом, былинами, песнями, монастырями, казалось, замыкалась, пряталась, - затаилась на два столетия". От Петра пошли города, Запад, интеллигенция, ненужная, оторванная от жизни народной, церковь, как придаток к самодержавию, деспотизм "самовластных злодеев", все это налегло, придушило народ, вампирствовало, извращало и искажало избяную Русь. Русская революция освободила ее от этого кошмара, от этой наносности, сора и цивилизаторского мусора. Из Петербурга октябрь увел Россию в Москву. Революцию делал народ, вылезший из изб, деревень, лесов, от полей диких и аржаных, черная кость, мужик. И никакого Интернационала нет, а есть народная, национальная, чисто-русская

революция, в которой народ в первую очередь сосчитался со всем наносным, ненужным, с помещиком, с интеллигенцией, с деспотизмом. "Чай - вон, кофий - вон! Брага. Попы избранные. Верь во что хошь, хоть в чурбан". ("У Николы, что на Белых Колодезях").

К теме о национальном характере русской революции Пильняк возвращается

#_257

постоянно. В романе "Голый год" Глеб преподносит целую историософию, - в которой нетрудно увидеть излюбленные взгляды автора.

"Была русская народная живопись, архитектура, музыка, сказание Иулиании Лазаревой. Пришел Петр, - и невероятной глыбой стал Ломоносов с одой о стекле, и исчезло подлинно-народное искусство... В России не было радости, а теперь она есть... Интеллигенция русская не пошла за октябрем. И не могла пойти. С Петра повисла над Россией Европа, а внизу, под конем на дыбах, жил наш народ, как тысячу лет, а интеллигенция - верные дети Петра. Говорят, что родоначальник русской интеллигенции Радищев. Неправда - Петр. С Радищева интеллигенция стала каяться...

И Глебу (в этом) вторит "попик":

"Когда пришла власть, забунтовали, засектанствовали, побежали на Дон, на Украйну, на Яик, - а оттуда пошли в бунтах на Москву. И теперь дошли до Москвы, власть свою взяли, государство свое строить начали, - и выстроют, так выстроют, чтобы друг другу не мешать, не стеснять, как грибы в лесу... А православное христианство вместе с царями пришло, с чужой властью... Ну-ка сыщи, чтобы в сказках про православие было? - лешие, ведьмы, водяные, никак не Господь Саваоф... А теперь пришла мужицкая власть, православие поставлено как любая секта... Жило православие тысячу лет, а погибнет, погибнет лет в двадцать, вчистую, как попы перемрут. И пойдет по России Егорий гулять, водяные, да ведьмы, либо Лев Толстой, а то, гляди, и Дарвин... (Голый год. "Две беседы").

Даже Маркс Пильняку кажется похожим на водяного.

Мужики в освещении Пильняка за революцию потому, что она освободила их от городов, буржуев, чугунки; что вернула она Русь старую, допетровскую, настоящую, мужицкую, былинную, сказочную.

Чугунка нужна господам, чтобы ездить по начальству, либо в гости. Мужику она не нужна. Мужик за советы, за большевиков, но против коммунистов, против города. "У нас Петербург давно прикончен. Жили без него и проживем, сударь". (Донат).

..."Советская власть - городам, значит, крышка... мы сами, к примеру, без буржуев, значит"... (Никон Борисович). ..."Говорю на собрании: нет никакого интернационала, а есть народная русская революция, бунт и больше ничего. По образцу Степана Тимофеевича". "А Карла Марксов?" спрашивают. - Немец, говорю, а стало быть дурак. "А Ленин?" - Ленин, говорю, из мужиков, большевик, а вы, должно, коммунысты..." (Дед Егорки).

В "историософии" Б. Пильняка, таким образом, мирно уживаются: мужицкий анархизм, большевизм 18-го года и своеобразное революционное славянофильство, и народничество. Слабая сторона этой "историософии" легко обнаруживается, как только мы обратимся к перво-истокам, ее питающим. Прежде всего явственно звучит разочарование в западно-европейской буржуазной культуре:

"Я много был за границей, и мне было сиротливо там. Люди в котелках, сюртуки, смокинги, фраки, трамваи, автобусы, метро, небоскребы, лоск,

#_258

блеск, отели со всяческими удобствами, с ресторанами, барами, ваннами, с тончайшим бельем, - с ночной женской прислугой, которая приходит совершенно открыто удовлетворять неестественные мужские потребности, - и какое социальное неравенство, какое мещанство нравов и правил! И каждый рабочий мечтает об акциях, и крестьянин. И все мертво, сплошная механика, техника, комфортабельность. Путь к европейской культуре шел к войне... Механическая культура забыла о культуре духа, духовной... Европейская культура - путь в тупик".

Это говорит Глеб ("Голый год"), но в контексте иных художественных вещей Б. Пильняка совершенно очевидно, что устами Глеба говорит сам автор.

Европейская буржуазная культура зашла в тупик. Это так. Она - сплошная механика. В значительной мере верно. Но были лучшие времена: Кант, Гегель, Маркс, Шиллер, Гете, Ибсен - нужно ли перечислять имена всех, обогативших сокровищницы именно человеческого духа! Да и сейчас можно ли сказать, что "все мертво"? Буржуазная культура на Западе обладает еще большой силой сопротивляемости и в области духовной она еще продолжает бороться за свое господство. Культура Запада "на закате", она обречена, но и в области техники, и в области духа есть огромное наследство, которое нужно воспринять новому миру, а утверждения, что "все мертво", совсем не идут по линии этой преемственности. Да и победить эту культуру можно только ее оружием: сталью и бетоном. Европейское искусство падает стремительно. Но все-таки... Уэльс мечтает о стальных волшебниках, о преображении миров умом человеческим, а у нас еще бредят лешаками, русалками, лесной нежитью.

Дальше. Почему от механичности западно-европейской культуры делается этот скачок в такое глубокое прошлое, в допетровскую Русь, а не в лицо будущему смотрит автор? "Там" - сплошная механика, а здесь богатство духа? Где, в чем? Песни, былины, сказки? Но, ведь, это уже не действенное, отжившее. Действенное, живое - в мечтах, преобразующих мир, завоевывающих небо, земные недра, океаны. Поэзия и правда крестьянского труда, правда непосредственной жизни? Но она показана Пильняком в конце романа опять-таки с точки зрения обычаев, наговоров, любви в овинах. А тиф, голод, а вши, а покорная пассивность, а эта эпическая

деловитая закупка гробов? А эта "скорбь, скорбь, разлитая повсюду в "тысячелетней" исконной жизни"? Все тут - сплошной тупик. Никаким богатством духа тут и не пахнет. "Пусть в России перестанут ходить поезда, - разве нет красоты в лучине, голоде, болезнях" (Андрей). Конечно, нет. Какая красота, когда человек извивается как червь, как последняя "дрожжащая тварь"!

Властью человека над природой измеряется поступательное движение человеческого духа и, если "сплошная механика" сейчас гасит его, - ключ - в социальном неравенстве, в упадке и в распаде строя, основанного на господстве человека над человеком, а не в том, что техника, как таковая, вытравивала все духовное. Неумение отделить семена от плевел явствует из положения: "каждый рабочий мечтает об акциях". Из чего это вытекает, какие

#_259

факты могут это подтвердить? В массе своей рабочий на западе был лишен возможности мечтать об акциях, ибо для массы подобные мечтания были пустопорожными и бессмысленными. Об акциях могли мечтать только отдельные тонкие прослойки рабочих. И уж во всяком случае говорить об этом после войны 1914 года совсем не приходится. С Пильняком случилось то, что теперь нередко случается с чуткими интеллигентными людьми. Западная буржуазная культура разлагается и отталкивает от себя. Это видят многие, не имеющие отношения к непосредственной классовой борьбе, ни к коммунизму. Неумение найти выход, сторожкое отношение к политике, к борьбе рабочих за новое заставляет этих чутких и искренних людей - искать выхода из тупика в прошлом, в странных компромиссах (Уэльс и др.).

Естественно далее, что Пильняк утверждает, что "нет никакого интернационала" и что наша октябрьская революция национальна. В самом деле, какой может быть интернационал, если там, на западе "каждый рабочий мечтает об акциях"? Впрочем, национальный характер русской революции утверждается, главным образом из того, что она вскрыла и освободила от всего постороннего старую избяную, кононную Русь. Это только отчасти и только по виду соответствует тому, что было. Была - анархо-махновская борьба, при чем анархо-махновцы повторяли почти буквально, что им чугушка не нужна, что не нужны им заводы, почта, города, буржуи и пр. Были такие же движения в Сибири и в других местах. Было, что деревня замыкалась, уходила в себя, отгораживалась враждебно от города, видела во всем городском беду для себя. Такое русло было. Оно питалось косностью, аполитизмом, отсталостью деревни; сказывались тут результаты союзной политики, сознательно стремившейся изолировать деревню от города, - ошибки Советской власти и всяческие нелепости, коих было очень много - а в целом это движение возглавлялось и питалось кулацкими, хозяйственными элементами деревни. Наконец, "в XVII-й век" русская деревня ушла из-за голода, мора, бестоварья, разрухи, болезней. Как художник-бытописатель Пильняк схватил верно существенные черты

крестьянских настроений, но он делает несомненную ошибку, обобщая указанные черты и выводя отсюда своеобразную "историософию". В общем это были центробежные, а не центростремительные силы русской революции, и ими деревенские настроения не исчерпывались. Если Красную армию коммунистической партии удавалось подчинить дисциплине и своей идейной гегемонии, то происходило это в первую голову потому, что коммунисты, несмотря на разнообразные трудности, находили общий язык с молодой новой деревней, с ее наиболее передовой частью. Насколько ограничительное значение имели в русской революции настроения Кононовых, видно, между прочим, из того, чем становится деревня теперь. Едва ли бытописателю современной деревни придется сейчас серьезно считаться с идеологией Кононова, деда Егорки, в том виде, в каком они исповедуются Пильняком. Все это - далекое прошлое. В деревне - американизм, новая буржуазия и беднота, жажда знания, паровых плугов в деревне - многие другие сложные процессы. Все это бесконечно далеко от взглядов -

#_260

город и чугунок нам ни к чему. И не преподносит ли нам Б. Пильняк, сам не зная того, под видом патриархальной, избяной, кононной, допетровской Руси с ее сказками и наговорами - в сущности эту новую американизированную, жадную, рваческую, богатеющую деревню, обряженную им в старые кокошники, сарафаны, поющую старые былинные песни и справляющую истово старые обряды? Бывает это в истории, когда в старое любит рядиться новое и в старые мехи вливается новое вино. Очень подозрительна семья сектанта-конокрада Доната и Марка. Тут и вольница, и степь, и обряды, и простота дикой жизни, и в то же время хитрость и своекорыстие. "Себе на уме" семейка. Или: "ну, а вера будет мужичья" ("Голый год"). Какая? В этом все дело.

Пильняк писатель не отстоявшийся и сложный. К старому, допетровскому тянется Пильняк и тянет читателя еще в силу ярко пробудившегося национального чувства. Этот революционный национализм, национал-большевизм в вещах Пильняка выявлен как ни у кого из современных писателей и поэтов, работающих в Советской России. Явление широкое, глубокое и действительно связанное с тягой к старине, с пробудившейся любовью к нему.

Закордонные писатели из белого лагеря стремятся доказать, что это вода на их мельницу. Глубокое заблуждение. Вещи Пильняка очень отчетливо выявляют основные мотивы этого настроения. Тут не тоска по старой России, ее укладу, иконам, храмам и т. д. Об этом и речи нет у Пильняка. Это мы докажем ниже. Русь старая сгинула, распалась, и пахло Русью новой, настоящей, Русью рабочего и мужика. Впервые почувствовала себя эта Русь, осознала как великую свободную силу, хозяйном увидела себя. Пришибленный, веками увечимый раб с октябрём встал в рост, человеком - и отсюда его гордость, его национальное сознание, его патриотизм и связанная с ним любовь к историческому, поскольку он в этой истории проявлял

себя в качестве самостоятельной силы. Новой настоящей Русью пахнуло. В этом освещении "историософия" Б. Пильняка теряет свою славянофильскую окраску, получает некое символическое, фигуральное выражение, отражая то, что есть в молодой республике советов, что обще не только людям склада Пильняка, но и нам, ибо "мы с октября тоже оборонцы".

Повторяем, однако, что к этому мотиву нельзя свести "историософию" Пильняка. В ней есть, действительно, черты славянофильства, идущего от сознания "заката" Запада и неумения найти иного выхода; и от своеобразной, однобокой художественной переработки деревенских настроений во время революций анархо-махновского порядка.

У Пильняка нет цельности, он часто как бы расщепляется, он еще не нашел точки опоры, оттого его мысли и образы сталкиваются, не согласуются и даже противоречат друг другу. И если мы затеяли здесь с ним политический спор, то потому прежде всего, что он имеет существенное отношение

#_261

к Пильняку как к художнику, самому талантливому бытописателю революции, ибо отсутствие цельности очень заметно отражается на его вещах. К этому мы переходим.

III.

Лучшим и несомненно пока самым значительным произведением Б. Пильняка (из напечатанного) является недавно вышедший из печати роман "Голый год". В сущности это не роман. В нем и в помине нет единства построения, фабулы и прочего, что обычно требует читатель, беря в руки роман. Широкими мазками набросаны картины провинциальной жизни 19-го года. Лица связаны не фабулой, а общим стилем, духом пережитых дней. Получается впечатление, что автор не может сосредоточиться на одном, выбрать отдельную сторону взбаломученной действительности. Его приковывает к себе она вся, вся ее новая сложность. И, может быть, так и нужно. Революция перевернула весь уклад целиком, все поставила вверх ногами, и художник прав, когда он стремится захватить как можно шире, дать цельную, полную картину сдвига и катастрофы.

Город Б. Пильняка - наша окурковская, чеховская провинция в условиях новой советской действительности. Ее былой - дореволюционный, сонный, нелепый, застойный быт мастерски очерчен автором. Революция испепелила здесь одних, выхолостав из них последние остатки жизни, выбросила за борт, - и произвела полный хаос в головах других аборигенов-обывателей. Князь Ордынин всю свою жизнь развратничал, а с первых дней революции из пьяницы сделался аскетом и мистиком. Купец Ратчин приходит каждый день к месту, где была торговля, и так сидит, иссохший как мумия, целый день до вечера и т.д. "Потеряла закон" городская интеллигенция. Егор Ордынин пьет и развратничает: "когда потеряешь закон, хочешь

фиглярничать. Хочешь издеваться над собой... Нет закона у меня. Но не могу правду забыть. Не могу через себя перейти. Все погребло. А какая правда пришла!"... Брат его Борис тоже "закон потерял". Изнасиловал прислугу-Марфутку, но это ему кажется пустяками: "Я большую мерзость сделал с самим собой! Понимаешь - святое потерял! Мы все потеряли"... И дальше поясняет, в чем заключалось это святое: "Я тогда (до революции. А.В.) думал, что я - центр, от которого расходятся радиусы, что я - все. Потом я узнал, что в жизни нет никаких радиусов и центров, что вообще революция и все лишь пешки в лапах жизни"...

Замечательно верно схвачена суть внутреннего интеллигентского краха. Думали, что "я - все", "центры", а на поверку вышло - есть "вообще революция" и все в лапах жизни. Об этих центрах, об этих павлинах, распускающих хвосты, много было написано томов, исследований, поэм, повестей, изысков и пр., и пр., пока не пришел новый хозяин и не вымел всю эту шваль в мусорную яму.

Глеб Ордынин - юноша - мучительно колеблется, ищет ответов, чистоты и правды, ему претит кровь, насилие, не знает, что делать с собой. Сестры:

#_262

кокаинистки, выродки и только одна Наталья - при деле, но она с коммунистами - о них после.

Когда читаешь главу о доме Ордыниных, невольно думаешь: "дать бы эту темку обсосать зарубежникам нашим: сколько бы было пролито слез, стонаний, негодования благородного по поводу "этих, распявших родину" и т.д., - сколько бы осенних скрипок прорыдало! Выказано отменного патриотизма, психологических "изысков" насчет "центров", рядом с воспоминаниями о барах и ресторациях!..

А у автора романа - скупость, холодок, протокольность, подход со стороны, ибо это - чужое, прошлое, отошедшее, ненужное, увядшее.

Так же "потеряли закон" и такие интеллигентные обыватели, как приспособляющийся, трусливо и подло хихикающий в кулак Сергей Сергеич. Разумеется, он желчно выкрикивает: "известное дело - хамодержавие, голод, разбой... Свинина семьдесят пять"... Разумеется, он кричит о погибшей России и варит себе кофе, "притворив поплотнее дверь" и доставая "из потаенного места кусочек сахара и кусочек сыра". И уж всенепременно он служит в одном из советских учреждений, где аккуратно пишет в "Ведомостях", что операций за истекший месяц не происходило и вкладов не поступало.

Сбиты с толку и окончательно потеряли духовное равновесие провинциальные умственники из разряда тех, кто раньше любил до всего "своим умом доходить". Известно, что таких окуривцев и растеряевцев в нашей провинции было не мало. Семен Матвеев Зилотов. У него война, революция, масонство, Запад, Россия, старые книги взбаломутили ум и вот теория: "Надо Россию скрестить с Западом, смешать кровь, должен притти человек - через 20 лет". Спасет пентаграмма - красноармейская звезда. "Бога попрать. Черт,

а не Бог". Практически: нужный человек подыскивается в лице Лайтиса, начальника охраны. Он должен скреститься в монастыре с девственницей Оленькой Кунц. От них должно притти спасение миру. Об этом вычитано в старых масонских книгах и дан "знак".

Кончается все так. Лайтис получил, что требуется, Оленька Кунц совсем не девственница, но бедный Зилотов, потерпевший крушение замыслов, погибает в пожаре.

Помимо быта тут еще - злая ирония над нашим русопятским мистицизмом. Мистические теории о "скрещении" России и Запада, как известно, теперь довольно в ходу и очень иногда напоминают бред иссушенных и из'еденных старыми книгами мозгов Матвея Зилотова (Евразийство, Шпенглериянство и пр.).

Другой провинциальный "философ", сбитый с толку окружающим дьякон, засел в баню, не выходит из нее и ищет настоящего слова, чтобы "мир поставить иначе". В частности, его очень интересует вопрос, когда начали корову доить и как это было и почему начали. Гипотезы, сомнения и вопросы неожиданно разрешает некто Драубе, уверив дьякона, что корову начали доить впервые парни от озорства. Дьякон ошеломлен. "Стало быть,

#_263

и весь мир от озорства"... Дьякон решает... записаться в коммунистическую партию и служить ей верой и правдой. ("Мятель").

Потеряла стержень и коммуна анархистов, устроившаяся в провинции. Она гибнет из-за денежных передразг.

Новой Русью пахнуло. Вопреки уверениям относительно устойчивости психического быта, в романе и других вещах Пильняка русская революция все поставила вверх дном. Его провинция глубоко чувствует, что старое ушло. У Пильняка почти все главные персонажи говорят о том, как "мир поставить иначе": архиепископ Сильвестр, дьякон, Матвей Зилотов, правду нового мира и революции ощущают: Глеб, Борис, Егор, Андрей, Драбе, мужики, парни, старики. Они не творят ее активно, но пришествие ее каждый по своему пережил и перечувствовал.

Творят новую жизнь другие. Кожаные куртки. Большевики.

"В доме Ордыниных, в Исполкоме собирались наверху люди в кожаных куртках, большевики. Эти вот, в кожаных куртках, каждый в статью, кожаный красавец, каждый крепок, и кудри кольцом под фуражкой на затылок, у каждого крепко обтянуты скулы, складки у губ, движения у каждого уютны. Из русской рыхлой народности - отбор. В кожаных куртках - не подмочишь. Так вот знаем, так вот хотим, так вот поставим - и баста".

Архип Архипов - председатель Исполкома. "Днем сидел в Исполкоме, бумаги писал, потом мотался по городу и заводу"... "Русское слово могут - выговаривал магуть"... "перо держал топором"...

просыпался с зарей и от всех потихоньку книги зубрил: алгебру Киселева... "Капитал" Маркса, финансовую науку Озерова...

Пильняк рассказывает дальше, как пустили завод, который нельзя было пустить: разгромлен был во время войны с белыми, "ибо нет

такого, чего нельзя сделать, - ибо нельзя не сделать".

"Энегрично фукцировать". Вот что такое большевики.

Энегрично фукцирует: Архип Архипов, рабочий Лукич, Донат, Наталья. Наталья Ордынина говорит брату:

- Все, кто жив, должно итти.

- Куда итти?

- В революцию. Эти дни не вернутся еще раз... без хлеба и мастерового умрешь ты, умрут все теории. А хлеб дают мужики. Пусть мужики и мастеровые сами распорядятся своими ценностями.

Это "энегрично фукцировать" у большевиков на фоне разложившегося старого уклада Б. Пильняк отмечает всюду:

- Гей, товарищ Борис, отпирайте.

Это пришли коммунисты... Товарищ Елена кричала в мятели:

- Мятель. Мы гуляем. Разве можно уснуть такой ночью! Мятель.

В дом, со снегом, с мятелью, с морозом ввалились военные люди. Дом - старый хрыч - зашумел, загудел, зазвенел в этажерке посудой...

- Товарищ Борис, милый философ: над землей мятель, над землей

#_264

свобода, над землей революция! Как же можно спать?! Как хорошо! Как хорошо! Это товарищ Елена!" ("Мятель").

Мне не большевику, - говорит о себе автор, - вообще легче вести кампанию с большевиками: у них есть бодрость и радость" ("Три брата").

Перс, член Ц.К. Иранской Комм. Партии весь напоен новой правдой. "Нищая, раздетая, голодная прекрасная Россия стала против всего мира и всему земному шару... несет ослепительную правду... Моря и вулканы переместились"... И точно подчеркивая силу этих слов серой, тусклой обывательщиной, некий инженер отвечает ему: "у меня башмак прорвался и хочется за границей посидеть в ресторане"... ("Иван-да-Марья").

"Совнарком - что-то крепкое, ночное, свиное... Московский кремль - сед во мхах. На Спасских воротах бьют часы.

"- Кто-там-за-спал-на-спас-башне...

"И вся Москва в дыму, ибо кругом горят леса - это стою там, где стоял Грозный, - я писатель, - и рядом со мной стоит человек, писатель и большевик. Автомобиль, уставший стоять, весь день кроил Москву, но человек устал, и вот он стоит в нижней рубашке, с расстегнутым воротом, сутулясь. Над Москвой, над Россией, над миром - ре-во-лю-ция! Какой черт, вопреки черта и Бога, махнул Земным шаром в межпланетную Этну? Что такое мистика? - Если зондом хирурга покопосить в язве спаса-на-кладбище в Рязани и Богоматери Яри, - что такое мистика?! Голодом и вошью к прекрасной радости - махнуть в межпланетную Этну?! Мхи на каменной груди бабы!.. Встать в рост бабе с зондом хирурга, - а ведь этим бабам молились вотичи" ("Рязань-Яблоко").

С зондом хирурга против мистики - такие мысли приходят автору в свином, крепком Совнаркоме-Кремле!

Борис Пильняк знает, что есть и "товарищи Лайтисы", и военкомы, издающиеся зря над обывателями ("Рязань-Яблоко"), и есть страшное в нашем быту. Оголено до натурализма темное, кошмарное повествование о "Раз'езде Мар" и "смешанном поезде N 58" с голодными мешечниками, откупающимися от продотрядов партией баб покрасивее на потребу продотрядников. Горькие, тяжелые страницы, написанные с исключительной художественной силой. Но не в этом, как говорится, суть. Главное в этих, кто "энергично фукцирует", для кого нет слова нельзя, у кого - бодрость и радостность, в ком есть совиное, крепкое, ночное. От них пахло новой Русью, они навсегда покончили с чеховской, окуровской, растеряевской Русью Ратчиных, Ордынина, Глебов, Борисов, Зилотовых, Сергей Сергеевичей. И потому так легко бросается автором по адресу всех этих граждан - "и чорт с вами со всеми, - слышите ли вы - лимонад кислосладкий", - а в серых скучных, мерзлых провинциальных буднях Пильняк ощущает, что революция продолжается: "день белый, день будничней. Утро пришло в тот день синим снегом. Скучно. Советский рабочий день. А оказывается:

#_265

этот скучный рабочий день и есть - подлинная - революция. Революция продолжается" ("Мягель").

От романа Пильняка и других вещей остается привкус горечи, полыни, но этот запах крепок, бодрящ, "сказочен". Это привносится людьми в кожаных куртках.

Б. А. Пильняк художник - молодой, не отстоявшийся. Многие у него не согласуются, лезет куда-то в сторону, мысли и образы невозможно свести к одному целостному мироощущению. В среде "потерявших закон", в людской исторической пыли "кожаные куртки" выглядят особенно свежо, по-новому, бодро, нужно и жизненно. И уж совсем странными кажутся эти новые люди, железные и радостные, как бы слетевшие с другой планеты в старую, тихую, бездеятельную Русскую Азию, - рядом с избяной, допетровской Русью, которую воскрешает Пильняк и величает ее, как провозвестницу новой свободной жизни. Автор в конце романа сделал все - и наговоры, и свадьбы, и девки в овинах с парнями, - чтобы привлечь симпатии читателя к избяной, кононной Руси, - а читатель все-таки смотрит на нее глазами посторонними, и Кононовы остаются людьми времен до-исторических. Тут автор не убеждает, не побеждает, несмотря на все свое мастерство. Кожаные куртки и Русь XVIII-го века. Это - из двух эпох. Вместе им не ужиться. Одни "энергично фукцируют", пуская заводы, которые "нельзя пустить", говорят о тракторах и электрификации, другие живут как птица, как дерево, зоологической в сущности жизнью с лешими, домовыми, наговорами. У Пильняка как-то пока мирно уживаются и любовь к кожаным курткам, и любовь к зоологической Руси. "И пойдут по России Егорий гулять, водяные да ведьмы, либо Лев Толстой, а то, гляди, и Дарвин". Автору еще неясно, кто будет "гулять по Руси". А между тем едва ли можно в этом сомневаться. "Ведьмам" враждебен весь революционный, новый

уклад, а с Дарвиным он связан органически. Дарвин уже гуляет по Руси. Недаром Архиповы по ночам втихомолку зубрят его в числе иных прочих. По сути же нет никакой допетровской Руси, она вся выветрилась, сгинула, а есть Русь кожаных курток и бедноты и Русь новой буржуазии городской и деревенской, и между ними вражда и борьба.

Спорить с Пильняком о допетровской Руси - трудно, как с человеком, который утверждает, что черное есть белое.

Речь, однако, идет сейчас не столько о теоретической верности той или иной "историософии", сколько о самом художнике, крупнейшем из молодых, с большим дерзанием и самостоятельностью, с несомненными художественными данными, - о художнике, знающем и принявшем новый быт, поставившем задачей своей дать целостную картину революции. Трудности здесь очень большие. Проторенных путей нет; старые образы, типы подновлять, перекрашивать и перелицовывать на новый лад нельзя - этим не пробавишься, - а сколько писательской братии пробавлялось этим "рукомеслом". Приходится поднимать целину, идти своей дорогой. Но кому многое дано, с того многое и взыщется. Пильняку дано многое, и требования к нему

#_266

должны быть повышенные. Ни в "Голом году", ни в других вещах автора нет внутренней целостности, нет цельной картины ни 19-го года, ни революции, и образ писателя двоится; из разных, причудливо переплетающихся и противоречивых настроений сотканы его вещи. Кожаные куртки, Дарвин - и ведьмы, и Кононовы, мистика пола и злая ирония над мистикой вообще, биология, звериное и тут же поэма о большевиках, которые ведут нещадную борьбу со звериным и сталью хотят оковать землю; XVI-е и XVII-е столетия и век - XX-й, горечь и радость. Что-то не сведенное к одному мировосприятию, художественно не законченное и недодуманное есть во всем этом. Как будто автор стоит по середине на перекрестке двух дорог: по этой пойдешь - одно потеряешь, по другой - другое. Есть внутренняя несогласованность и дисгармоничность в самом художнике, в нутре его. И не потому ли у него такая тяга к зоологическому, биологическому, непосредственно данному, простому, что хочется, что нужно преодолеть эту раздвоенность? Органическое и биологически-простое ищет автор в жизни, с такими запросами подошел он и к русской революции и даже в кожаных куртках постарался найти "утюжное", "пугачевское", "крепкое", "ночное", "совиное". В этом он по своему целен, последователен. Но целостной картины революционных дней Пильняк не дал. Нам кажется потому, что помешала эта несогласованность и дисгармоничность в художественном опыте писателя. Не ясно общее художественное мировоззрение автора. Может быть для 19-го года было достаточно сказать себе: революция - стихия, бунт, Пугачев и т.д. Теперь этого явно недостаточно, да и тогда этого было недостаточно. Нужно более углубленное, органическое проникновение

в нашу эпоху, чтобы связать все в одно, единое. И тут вопросы об интернациональном и национальном, о Дарвине и Егории, о курной избе и электрификации нужно решать, а не сталкивать и не сбивать их в одну кучу*1. Это совсем не безразлично для нынешнего художника и для художественного творчества - иметь или не иметь единое эмоциональное, широкое проникновение в существо, в душу нашей революции, иметь или нет одну сердцевину и соответствующую теоретическую ясность, ибо все это самым жизненным образом отражается на художественных произведениях.

В конце концов: кожаные куртки: Архипов, Наталья, Лукич, Донат, Елена и пр. превосходны у Б. Пильняка. Верно и хорошо отмечены свежесть и покоряющая бодрость, но ведь это не все. Это только существенные внешние

*1 Недавно в "Утреннике" N 2 Б. Пильняк, по поводу своего ухода из газеты "Накануне", заявил между прочим: "сам я, должно быть, сменевеховец". Мы думаем, что это - ошибка. Никаких вех, как будто, Б. Пильняк не сменял; здесь, однако, уместно сделать одну оговорку. Повидимому, Б. Пильняк за последнее время несколько изменил свое отношение к Интернационалу, усвоив формулу: Интернационал нам нужен для Запада (в вещах еще не напечатанных), и это приближает Пильняка в некотором роде одной стороной к сменевеховцам: для них Интернационал является орудием для достижения чисто национальных целей. Противопоставление тоже неправильное от начала до конца.

#_267

признаки. "Энегрично фукцировать"... Но во имя чего, куда, зачем, что дальше внутри у этих людей? В какую даль идут они? Какую роль они играли в русской революции? Что дадут России, что дают? Они ведь живые люди. То же и с деревней. Пильняк искал звериные следы - он любит и знает звериные тропы. Он нашел их в деревне. Но это тоже не все, тут только кусок, часть жизни.

Вопрос о единой сердцевине автора приобретает сейчас решающее значение не только потому, что роль художественного слова в наши дни приобретает в общем водовороте жизни совершенно исключительное значение, но еще и главным образом потому, что мы вступили в полосу настоящей, подлинной переработки и внутреннего осмысливания всего пережитого за последнее пятилетие. Художник, который этого не поймет, быстро окажется позади "духа времени". Место оратора на митинге занимает художник, ученый. И они должны быть трибунами, пророками "с божественным глаголом" на устах.

IV.

Несколько замечаний о писательской манере Пильняка. Пильняк безусловно свеж, самостоятелен и оригинален. Конечно, не трудно проследить влияние некоторых старых писателей на него: в описании, например, Ордынина-города, сказывается Чехов и Горький,

дьякон в "Мятели" напоминает "Соборян", на конструкцию последних вещей повлияли несомненно Андрей Белый и Ремизов. Все это, однако, не существенно: слишком своеобразен и индивидуален автор.

Очень затейлив и оригинален прежде всего стиль. Построение речи отходит от обычных норм. Обороты совершенно неожиданные и непривычные. Старый грамматик должен притти от них в ужас. Речь раскидистая, ухабистая, слова бросаются широким, вольным взмахом, веером, врассыпную, либо сыпаются разом ворохом. Слово любит Пильняк. Любит его историю, его первоначальный, коренной смысл, его ядро. "Слова мне - как монета нумизмату". И здесь Пильняк верен себе, своему основному художественному методу: искать первичное, девственное, не замутненное позднейшим. Часто грешит автор по части сказуемого и подлежащего. Часто - тире: нужно догадываться, перечитать фразу. Бросается намеком слово, за ним целый круг мыслей. В сущности разговорная, но манерная красочная речь. Печатное слово - слышное: слышишь как выговаривает автор и кому оно принадлежит: громко, размашисто, без системы и внешней связанности и стройности, увесисто бросаются слова, булыжниками. От предложения к предложению - переходы в силу контраста: "третьим интернационалом провода трубили по тракту Рязань. Повозка на двух колесах - беда называется". Много вводных слов, пояснений, вставок. Повторения упорные. При видимой щедрости и размашистости - большая экономия. В предложение втискивается целая система образов, понятий.

#_268

Не только глава от главы, но абзац от абзаца обрубается. Стилизованная манера думать, - пишет как думает, - когда человек перебрасывается с одного на другой, особенно характерная для произвольного мышления - мысли плывут хаотично, вольно как облака по небу. Мазок в одну сторону, мазок в другую, в третью, десятую, потом в конце еще какими-то штрихами воссоздается целая картина. Иногда Пильняк явно злоупотребляет этой манерой, и читателю приходится преодолевать страницы и связывать усиленно самому. Когда это чрезмерно, как в повести "Иван-да-Марья", это утомляет. В отличие от Серапионовых братьев и большинства молодых писателей, занимательной, интересной фабулы у Пильняка нет, да и вообще фабулы нет. Не рассказы, не повести, не романы, а поэмы в прозе. Мозаика, механическое сцепление глав. Из самостоятельных этюдов составлен роман "Голый год". Такому же легкому расцеплению поддаются и некоторые другие вещи: "Мятель", "Рязань-Яблоко" и пр.

Кстати о "Голом годе" с точки зрения экономии. В романе 142 страницы, не очень большого формата. В эти полтора ста страниц втиснуто столько художественно обработанного материала, что свободно хватило бы на столько романов, сколько в "Голом году" глав. Как все это далеко ушло не только от времен "Обрыва" Гончарова, но и от времен более поздних, например, кануна войны и революции? В этом - стиль нашей эпохи. Даже Чехов и Бунин кажутся

по сравнению с этой насыщенностью и экономией разжиженными.

В общем все - взбаломученное, шумное, постоянно выходящее из границ, трубное, с восклицаниями, с большим нервным напряжением и концентрацией, как вода морская в лиманах. Пильняк пишет не сердцем, прежде всего, а нервами.

Образы, сравнения не затасканы, свои, свежие, тоже повторяются упорно. Резко индивидуальны и врезаются четко фигуры отдельных персонажей: дьякона, Сергея Сергеича, Зилотова, старика Архипова и других. Очерчены всегда импрессионистски. А вот таких мест следует избегать: Семен Семеныч говорит на собрании анархистов: "Я закрываю собрание, товарищи. Я хочу поделиться с вами другим фактом. Товарищ Андрей женится на тов. Ирине. Я думаю, это разумно. Кто-нибудь имеет сказать что-либо? Никто ничего не сказал..." ("Голый год"). Это - фельетонно и досадно выпирает из романа (поэма ведь). Такие места встречаются у Пильняка не редко.

Пильняк писатель, недавно выдвинувшийся, а между тем заметна большая проделанная над собой работа. И у него есть уже не один подражатель. Следы этого влияния все чаще и чаще приходится встречать особенно в среде литературной молодежи - лучшее доказательство, что в лице его мы имеем большого и самостоятельного художника.

Талант Пильняка быстро крепнет. Особенно это заметно по вещам последним, связанным с впечатлениями, полученными от поездки за границу. Но они еще не появились в печати, а это лучшее по нашему, из всего, написанного

#_269

им доселе. И как будто, допетровская Русь убрана куда-то в сторону.

Вообще же очень безалаберный и талантливый человек. Если верно, что у каждого настоящего художника должен быть непременно свой дурак, то у Пильняка их несколько. От некоторых следовало бы освободиться.

Говоря проще и прямей: нужно сказать окончательно и бесповоротно тем, которые говорят о добре и справедливости сухо и зло: "и чорт с вами со всеми, - слышите ли вы, лимонад кислосладкий!" - и примкнуть всецело, от кого Русью новой пахнуло. (Допетровскую Русь - вон романтику, пока - вон, излишества натурализма - вон и т. д.). Почему? Потому, что только здесь слушают "всерьез и надолго", по настоящему, по совести, а не так, как в литературных особняках, с улыбочками деликатными, сдержанными, - тонно, а по сути сухо и зло. Почему? Потому, что - революция, кожаные куртки, большевики. Потому, что "революция продолжается". И потому, что у Пильняка настоящий талант, и потому, что талант и революция сейчас неразрывны. И потому еще, что теперь настоящим большим художником может быть только пророк-художник, художник-водитель, художник-трибун.